

Сергей Гандлевский
проза





Сергей Гандлевский

проза



издательство астрель

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Гандлевский, С.

Г19 Проза / СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ; — М.: Астрель: CORPUS, 2012. — 448 с.

ISBN: 978-5-271-44812-6 (ООО «Издательство Астрель»)

Сергей Гандлевский — поэт, прозаик, эссеист. Окончил филологический факультет МГУ. Работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем; в настоящее время — редактор журнала «Иностранная литература». С восемнадцати лет пишет стихи, которые до второй половины 80-х выходили за границы в эмигрантских изданиях, с конца 80-х годов публикуются в России. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Малая Букеровская», «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, «Московский счет», «Поэт». Стипендиат фонда «ROESIE UND FREIHEIT EV». Участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, Германии, США, Нидерландах, Польше, Швеции, Украине, Литве, Японии. Стихи С. Гандлевского переводились на английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, польский, литовский и японский языки. Проза — на английский, французский, немецкий и словацкий.

В сборник прозы вошли повесть «Трепанация черепа» и роман «<нрзб>».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN: 978-5-271-44812-6 (ООО «Издательство Астрель»)

© Сергей Гандлевский, 2012
© А. Бондаренко, оформление, 2012
© ООО «Издательство Астрель», 2012
Издательство CORPUS ®

Содержание

Трепанация черепа

Повесть

7

<НРЗБ>

Роман

201

Трепанация черепа

повесть

Женé

Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами.

Ф. М. Достоевский

Когда я открывал глаза, она уже болела. А может, меня просто-напросто будила головная боль. Белый боксер Чарли, племенной брак, внеплановая вязка, махом сигал на кровать. Я по привычке заслонял солнечное сплетение и пах: в засранце сорок кило весу и люберецкая силища. Жена поворачивалась на правый бок, а я отбивался от кобельего панибратства и брезгливо натягивал отсыревшие за ночь портки и рубаху. В полукедах на босу ногу я спускался на террасу. Не из отцовской бережности, а чтобы урвать еще четверть часа тишины, на цыпочках проходил мимо детской комнаты.

В ушах шумело. По первости я, случалось, озирался: откуда? Пока не смекнул, что я — он и есть источник шума. Чарли вился вокруг меня мелким бе-

сом, и мы доходили до задней калитки. Лес начинался сразу. Я задерживался у ствола поваленной накануне березы. Чистая работа. Жаль, конечно, тем более что береза — символ русской духовности и особого пути России, но работа чистая. Хотя шведские березы будут поавантажней. Когда мы слонялись с Рубинштейном по Стокгольму в сентябре девяносто второго, меня озадачило засилье роз на газонах. Я взялся умничать. “Лева, — воскликнул я, — ведь северная страна, вроде нашей! Вот что значит близость Гольфстрима!” Рубинштейн согласился со мной в принципе, но вскользь заметил, что во дворе шведского посольства в Москве из-за роз тоже плюнуть некуда.

Чарли метил ближайшую ель, балансируя на трех ногах, потом принимался суетливо кружить по подлеску, наконец пристраивался, напоминая страдальчески ослабившегося горбуна, и оставлял солдатскую кучу. От облегчения он делал два-три скачка вбок, прихватывал пастью еловую шишку и приглашал меня поразвлечься. Дудки, теперь моя очередь.

Я запирался в будке на краю участка, курил, тискал ладонью невыносимый лоб и по привычке читал заголовки на лоскутах пожелтевших газет. “На необъятных просторах Родины”. Понятно. “Обуздать...” Оборвано, но тоже понятно. “Позор...” — и снова ворсистый обрыв. “Тореть пионерским ко-

страм!” Гори они огнем. Словом, родина — ширь да простор: папуасы, каноэ, озера. Гутентаг, полуночник костер! И конечно, привычка к позору... День начался, и что делать? Снять штаны и бегать. Была там еще шутка в том же роде. А! “От Украины, Молдовы, России (в штанах) дети советской страны (без штанов) бросили тоже цветы полевые (в штанах) в гребень дунайской волны (без штанов)”...

Судя по визгу и взаимным обвинениям, дети проснулись. За завтраком я заведу ежедневную волюнку: Александра, нет такого слова “клевый”; Гриша, нож передают рукоятью вперед и тэ дэ. Мрачный из меня получился папаша, скучный. Человек подобен мухе на мяче, ектлезиаствовал я, и в каждом возрасте жизни своей мнит, что обретается в главной точке шара, а всего мяча не видит, никогда.

Слышится Ленино “доброе утро” и ответное “здравия желаю!” соседа. Это с ним идем мы на днях поселковой улицей, а он все сокрушается, что у него ограду по весне выпрет: работяги схалтурили, неглубоко столбы врыли, а промерзание — метр восемьдесят. — Вы строитель? — спрашиваю я с подвохом, потому что профессия здешних насельников — зона умалчивания.

— Все относительно в этом мире, Сережа, все относительно.

Релятивизм.

Господи, Твоя воля! По какому такому правилу буравчика она раскалывается изо дня в день! М-м-м-м. Хоть рулоном туалетной бумаги башку обмотай и ходи так. Чтобы знали, сволочи, как мне хреново.

Нет, соседи не каты — инженеры, завербованные органами, челядь. Но эти братья Черепановы еще покажут зубы, когда, отзавтракав и срыгнув, вгрызутся всем вурдалачьим ведомством в череп мой, полный черного перезвона, кто во что горазд — дрелями, электрорубанками, газонокосилками и бензопилами системы “Дружба”: выкладывай, гад, подноготную.

Катов нет, а вот шпион — есть. Резидент разведки в Сан-Томе и Принсипи. На них, по слухам, Андропов орал на общем собрании: “Американцы, — орал Андропов, — за свои деньги землю роют. А вы сидите в посольстве, как мышь под веником, только зря валюту переводите!” Нашему председателю после восьми лет напоминаний шпион принес восемь рублей за электричество.

— Ты что, — изумился председатель, — физику в школе не учил?

— Показания счетчика, — положил шпион конец прениям.

Это у него прошлой зимой другой полковник при похмельном содействии сторожа скомуниздил два куба шпунтованного бруса.

С востока и юга отношения самые сносные, и не надо дважды просить дернуть за веревку, когда береза уже подпилена и накренилась. А если есть место в машине, охотно подбросят до Москвы.

Ну дожили: сидеть беззаботно с офицером госбезопасности. Слово за слово разговориться понемногу о житье-бытье... — ровно то, чего я боялся пуще огня, когда три неразборчивых близнеца в кожаных пальто ни свет ни заря в декабре восемьдесят первого ввалились к Оле на Фили.

Понемногу разговориться! И думать не могли! И я мазал себе впопыхах на кухне запястье зеленым фломастером. Так, узелок на память: у тебя есть мать, у тебя было детство с велосипедом и Стивенсоном, ты любишь Пушкина и, главное, будет очень стыдно.

Они поторапливали, машина ждала внизу. На ходу я шепнул Оле, чтобы заговаривала им зубы, и, спрятав пиво под свитер, заперся в ванной. Черт, открывалку забыл! Я отвернул до отказа оба крана, чтобы заглушить возню с бутылкой, и чуть ли не зубной щеткой содрал крышечку. Сидя на краю ванны, я тащил из горла под плеск в два крана. Сам виноват — чего малодушничал, тянул резину? А то не знал,

что в конце концов возьмут за хобот. Еще когда позвонил из Чоботов домой и мать не своим голосом наметнула ясней ясного на обыск. А ты еще гулял два дня по пустому поселку, репетировал. Пока Оля прямо не спросила: “Ты что, боишься?” Это уже было слишком. Потянулись в Москву, решили развлечься. Пошли в “Мир” на фильм Дамиано Дамиани “Я боюсь”. Людей живьем бросали в жидкий бетон. Правосудие на эти шалости смотрело сквозь пальцы. На выходе, видя, что я не развеселился, Оля предложила: “Купим бутылочку винца?” Купили три сухого, на сдачу взяли одну пива.

— Я готов, — крикнул я визитерам, задвигая ногой бутылку за дверь.

Ехали с ветерком по осевой линии Кутузовского проспекта. Антенна гнулась от скорости. Промачнули дом Бороздиной. Юность. Улицу Дунаевского. Детство и отрочество. Олю близнецы галантно ссадили у метро “Дзержинская”: ей на работу на Цветной бульвар. Покружили вокруг главного здания и пришвартовались к двухэтажной постройке прошлого века. “Приехали. Выходите, пожалуйста”.

Сколько же вас, мать ети, — город в городе. Черные “Волги”. Волокут брезентовые мешки — верно, с обысков. Сотрудники перебегают из подъезда в подъезд, из здания в здание налегке, без верхней

одежи. Дают знакомцам пять, скалятся: сам-то как? А твоя как? Поеживаются на морозце. Во влип!

Проводят меня на второй этаж в затрапезную комнату. Сажусь, озираясь, — ничего приметного: комната как комната. Вкатывается, улыбаясь, мой Порфирий, представляется: майор Копаев. Выученик Альбрехта, говорю о протоколе.

— Ну вы профессионал, Сергей Маркович, — смеется майор, — а как же без протокола, все по науке.

Доходим слово за слово до Козловского. Один раз видел я его. Или два. Толстый, с рыжей бородой, залысинами; ничего не скажешь, похож на прозаика.

— Ну и о чем вы говорили?

— О литературе. Об “Альтисте Данилове”.

— Хочу почитать, все руки не доходят. Хорошо он пишет?

— Я не читал.

— Как же вы обсуждали?

— Бывает, что еще не читал, а уже не нравится.

— “Красную площадь” читали Козловского?

— Нет.

— “Мы встретились в раю”?

— Нет, — что чистая правда. Все “Континенты” шли через Кенжеева, и до меня очередь не дошла. Он Сопровского больше любил, а меня за дурачка держал, татарчонок.

— Как же вы со товарищи собираетесь его защищать, письма пишете, а сами не читали?

И я развожу отрепетированную бодягу про вымысел и клевету.

— А где вам позволят такой вымысел? В ЮАР? В Чили?

— В интересный ряд вы ставите нашу страну, — говорю я и поздравляю себя.

Майор посмеивается и разводит руками: дал маху. Я прошу позволения закурить и тотчас жалею об этом: у меня руки неверны после вчерашнего сухого, а он решит, что со страху. Я прошусь в уборную, и тоже напрасно, потому что он провожает меня оживленным коридором и дышит за моей спиной, а двери в кабинке нет. И что-то мне не журчится. Я еще со школы знаю, что не могу на людях. Под гогот одноклассников уходил, простояв в праздности над писсуаром минуту-другую, и терпел до дому.

Возвращаемся, занимаем исходные позиции. Молчим, долго молчим.

— А это что такое? — восклицает он победоносно и выкладывает, как козырного туза, на стол лист в коую линейку, исписанный моим пьяным почерком.

И я говорю с изумлением и облегчением:

— Так и трудовая у вас, и паспорт, и военный билет?

Боже ты мой! А я грешил на Чумака, думал, он видит, что меня развезло, и с пьяной заботой снял с меня планшет, а вернуть забыл и уехал с концами. Это все бездомность, благодарность и хронический алкоголизм. Это боязнь оказаться свиньей Печориным при встрече с Максим Максимычем, хотя говорить особенно не о чем. Это гордость интеллигента, даже такого опустившегося, как я, дружбой с человеком из народа, простым, как грабли.

Я до последнего не верил в его приезд. Звонил Чумак с интервалом в год-полтора то из Газли, то из Чарджоу, то из Андижана. Слышно было плохо из-за помех и тяжелого опьянения звонившего. На “здорово, братан” и “я приеду, братан” разговор стопорился. И я решил, что у него такая симптоматика, почему бы нет? Его спяну тянет на переговорный пункт, а меня, к примеру, гостить — и чем дальше ехать, тем лучше, будь то Кибиров в Конькове или Коваль в Отрадном.

И вдруг он приезжает, и не один! А с “узокпленочной подругой”, как говорит он с простодушным расизмом. И со спиногрызом. И они усталые, грязные, после трех суток плацкартной езды. Жена с ребенком лезут в ванную. Мама всех кормит. Но Миша Чумак не мыться ко мне приехал и не макароны есть. Нужно продолжение, а у меня — ну никак нельзя: мать дома, отец придет с работы вот-вот, брат вер-

нется из института, а в моей комнате спит “узко-пленочная” с мальцом. И под невинным предлогом и скорбным материнским взглядом мы выскальзываем из дому, и от универсама на “Юго-Западной”, отоварившись, я звоню Пахомову и беру его силой, без экивоков. Явно ему не до питья, да и мне не до гульбы, но так карта легла.

Спасибо тебе, Аркадий, что вошел в положение. У тебя и у самого старики были дома, и Евгения Сергеевна музицировала за стеной. Мы выставили на стол три “андроповки”. Ты сыграл кожей лица (знак веселого неодобрения), тайком принес черного хлеба (а то родители думали, мы в лото играем), и — понеслось говно по трубам! Стало шумно, но больше всех усердствовал я. По-моему, я вовсе вам не дал рта раскрыть. Мы пришли уже на взводе, приняли по дороге, и вообще я горазд врать, и Мишу надо было представить с лучшей стороны... Но и история, согласишься, того стоит.

Мне всегда, знаешь, не просто устроиться в экспедиции. Если в отделе кадров спрашивают военный билет, я смекаю, что дело швах: статья 2-б. В семьдесят восьмом году не везло, и все тут. На кадровиков напал административный восторг. Середина мая, а я все еще болтаюсь, как дерьмо в проруби. Потасился я к черту на рога, в Люблино. Автобусы, пе-

ресадки, адрес на бумажке. Вроде моя улица, вышел. Проезжая часть перегорожена турникетом; милиции — как собак нерезаных. Показываю адрес. Иди, говорят, в обход, здесь нельзя. Нашел наконец. Сидит такой улыбчивый начальник лет тридцати пяти. Располагает к себе. Знакомимся. Юра Афанасов.

— Что у вас такое происходит? — спрашиваю. — Плутал огородами, все перекрыто.

— Да чудика вроде вас судят.

— ?

— Юрия Орлова.

Я сразу признаюсь, что у меня неполадки с военным билетом. У нас с этим просто, успокоил меня Афанасов, были бы руки-ноги. И меня в два счета оформили на три месяца на Мангышлак, с одним условием, правда. Что я буду сопровождать туда две платформы с экспедиционными машинами. И я соглашаюсь, а куда я денусь?

— Ну, бон вояж, — говорит мне мой новый начальник на прощанье, — желаю вам, чтоб вас не сбросили с платформы.

— А что, были случаи? — заинтересовался я.

— Вы не волнуйтесь, — отвечает симпатяга Афанасов.

Я приуныл, что придется тащиться до места неделю-другую. А потом думаю, ладно, проеду по России по-пушкински, малой скоростью.